

Сергей Захаров

ДВА РАССКАЗА

ДОРОГА ЗА ГОРИЗОНТ

...свившаяся в петлю и не дающая дышать — есть ли что безысходнее? Когда год живешь с заслуженной шлюхой района, находишь каждое утро в постели жиром заплывшее, бело-дряблое ее тело — сможешь ли верить в шелковокожую, юную вечно любовь?

Это — будто снова оказаться в машине отца на пустынной утренней трассе, как четырнадцать лет назад. Мать кричала в окно: нельзя садиться за руль в таком виде, это верная смерть — вот он и пытался остановить.

А теперь «шестерка» рвет воздух со скоростью сто тридцать пять километров в час (ехать быстрее она просто не способна), а он, двенадцатилетний, застыл, вжавшись в сиденье, руки уперев в панель — потому что отец, разогнав «Жигуленка» до предела — мигом неуловимым заснул. Он смертельно, невозможно был пьян, отец, он действовал «на автопилоте», — а сейчас, не отпуская руль, спит, два раза всхрапывает даже, и маленький Затонский понимает — все, приехали! Совсем скоро, вот-вот, через сотню-другую метров — а сделать ничего нельзя.

Вот она — безысходность. Вот оно — безверие, неверие, утрата веры в лучший исход. Тяжесть, звон, пустота. Тяжелая, звонкая пустота. И ничего нельзя изменить — остается только, вжавшись в сиденье, ждать. Машину уводит вправо, медленно, но верно ее уводит вправо, страшнее и ближе, совсем ничего остается до катастрофы — но, так же мгновенно и непонятно, отец просыпается. Случаются все же на свете чудеса — пусть и не часто. Отец просыпается, съезжает кое-как на обочину, глушит мотор — и отрубается-храпит снова.

Отец... «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал...» Отец — при смуглости своей, щетинистости и крючконосости — больше походил на кавказца, чем сами урожденные дети гор. А между тем, кавказских корней, да и вообще никакого отношения к Кавказу не имел. Разве что в последние годы, когда купил сильно подержанный КамАЗ, на каком, доведя его до ума, и возил в Республику фрукты с того самого Кавказа. Затонский и сейчас его помнит — пахнувший дальней дорогой, нагретым железом и машинным маслом, с сиреневой кабиной КамАЗ. Чуть пониже ветрового стекла — надпись во всю ширь затейливыми буквами: ПОМНИ, ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!

Ждали, понятно — еще как ждали! Мама-медсестра и он, маленький Затонский, такой же экстерьером «чечен», как и папаша. Отец возил фрукты с Кавказа, после рыбу из Мурманска, копченое сало из Украины — его ждали. А потом он уехал за помидорами и не вернулся — перепутал, сука, дома. Теперь другая семья ждала его в другом доме, в Ельце — вот как бывает. И снова приступила она, тяжелая, звонкая пустота — на этот раз для сумрачной красавицы мамы. Та самая пустота, что одолевала сейчас Затонского. Та пустота, страшней и безысходнее которой быть ничего не может, ибо имя ей — безверие.

* * *

Средства на прожитые Затонский добывал преподаванием «вышки» в Институте транспорта, а все остальное время, воруя часы у отдыха и сна, сочинял труд, долженствующий упорядочить мир — ни больше, ни меньше. Это занятие он и полагал истинным своим предназначением. Труд назывался «К вопросу о точном математическом обосновании закономерностей исторического развития» — что-то, помнится, в этом роде. В том, что такое обоснование существует, Затонский несколько не сомневался. Он, казалось, и родился с интуитивным, расплывчатым — но безусловным этим знанием.

Однако чтобы перевести историю человечества на чеканный, отточенно-неуязвимый язык математических формул, требовались годы и годы скрупулезных, механически-нудных, пугающих непомерными объемами вычислений. Так Мария и Пьер Кюри, ютясь в холодном, продуваемом насквозь сарае, вынуждены

были перелопачивать и таскать на себе тонны руды, чтобы получить в итоге несколько граммов искомого материала — великий, выстраданный в годах каторжного труда и лишений результат.

Такова суровая проза всякого великого открытия — а в том, что открытие его должно стать именно великим, Затонский не сомневался. Да оно и понятно: подвергнуть математической обработке тысячи и тысячи разрозненных исторических фактов и создать алгоритм, позволяющий яснее увидеть прошлое и спрогнозировать с высокой точностью будущее — это ли не прорыв в историко-математической науке?

Мир, в бесконечном движении своем и развитии, в совокупности прошлого, настоящего и будущего представлялся Затонскому грудой частей замысловатого пазла, которые он рано или поздно разместит в единственно верном порядке — и полученная картина выйдет грандиозной и простой, как и все воистину грандиозное. Отдельные фрагменты ее уже проступали достаточно ясно, однако требовалось еще работать и работать, вкалывать до полного изнеможения, забывая о хлебе и сне — полужнание ведь не есть истина. Работы Затонский не страшился — но с определенных пор всерьез был обеспокоен иным.

Все чаще, краткими, но губительными кавалерийскими наскоками стали одолевать его приступы безверия — вот где был настоящий ужас. Замысловатый, но логически вполне объяснимый, а главное, предсказуемый механизм исторического развития, который математик выстраивал уже третий год, вдруг туманился, на глазах мутнел и рассыпался с адским грохотом на куски.

Затонскому начинало казаться, что никакого математического обоснования и нет, и быть не может — а есть лишь вечный, неистребимый бардак мироздания и бытия, в каком человечество, со всеми своими строями-формациями — такая же безмозглая субстанция, как, скажем, вода в горной реке или лава, истекающая из раскаленного жерла и сжигающая все на слепом и безжалостном своем пути. Вот это действительно было нехорошо — ибо что может быть страшнее безверия?

В такие периоды Затонский не проводил, а отмучивал свои пары в Институте и спешил скорее домой. Там, думалось ему, в тишине опустевшей окончательно год назад квартиры, легче будет углубиться в анализ и найти ответ на мучительный этот во-

прос — с чего же все началось? Когда нарушился отлаженный ход, при котором и призрак сомнения не возникал на мрачноватом, но отчетливом ментальном горизонте ученого? Затонский, не переодеваясь, укладывал нетяжелое тело поверх покрывала и принимался размышлять.

* * *

...и глупо, разумеется, винить Николая Рериха в том, что на выставке именно его картин бледная Эля впервые увидала этого негодяя, прапорщика Гомона. Это вообще аномалия, или, проще говоря, кретинизм — прапорщик разведбата, посещающий художественные выставки! Зачем, спрашивается, диверсанту любоваться полотнами «Гималайского цикла»? Всякому ведь понятно, что прапор, даже выдающийся, разбирается в искусстве, как свинья в апельсинах. И куда только смотрит армейское начальство, допускающее вопиющий этот беспредел?!

Так ли, этак ли — сделанного не воротишь. Прапорщик Гомон встретился с бледной Элей, а месяц спустя уже пилил, сверлил и долбил в ее квартире, производя ремонт и порождая при этом массу ненужного шума. Вояка — что с него взять? Тупоголовый солдафон, кретин с глазами мечтательной гимназистки. Гимназии, а соответственно и гимназисток, в Городе не было, но Затонский — сосед и несостоявшийся муж бледной Эли — полагал, что такие, снабженные сверх меры ресницами, голубовато-льдистые наивные глазищи могут быть разве что у влюбленных гимназисток-девственниц — но никак не у двухметрового, весом далеко за сотню килограммов, головореза, обученного смертоубийственным диверсионным штучкам.

И лишь рожа диверсанта — не лицо, а именно рожа — частично примиряла математика с девичьей роскошью глаз новообретенного соседа. Насыщенно-брусвяного колера, она, казалось, вырублена была из дубового чурбака пьяным в дугу плотником — во всяком случае, при виде ее на ум Затонскому приходило именно выражение «топорная работа». С такой рожей нельзя даже близко подпускать к искусству, а тем более, к картинам Рериха! Затонский простить себе не мог, что сам же и затащил бледную Элю на злополучную эту выставку.

* * *

Мать Затонского служила медсестрой в Первосоветской. С тех пор, как математик приступил к эпохальным своим изысканиям, общение между ними свелось к максимально возможному минимуму. Так и жили они, мать и сын: в одной квартире — и почти параллельных мирах. Затонский и вспомнить-то мог сущий мизер — о финальном периоде ее жизни.

Утюг, разве что — за месяц до смерти она подарила ему инновационный импортный утюг. Мать злило, что он, Затонский, преподаватель известного ВУЗа — к внешнему своему виду относится совершенно наплевательски и, когда б не она, мать — выглядел бы не лучше Кольки Штакета — бомжа, традиционно патронирующего контейнеры в их дворе. За месяц до смерти она, словно предчувствуя что-то, и разорилась на заморский, с массой опций, агрегат. Затонский, к слову сказать, пользоваться им так и не привык — ученому некогда заботиться о таких мелочах.

Итак, утюг. А что еще? Ага — она постоянно упрекала его в желании завести семью. Вот так и помру, внуков не увидев, говорила она. Хоть бы уже на Эльке, что ли, женился. «Хоть бы» — это потому, что у бледной Эли был туберкулез, и мать об этом знала. Знала и косовато поглядывала на соседку, принимая во внимание, что еще с прыщавого юношества сын испытывал к ней сильные чувства — насколько это вообще для него возможно. А все же, на худой конец, сошла бы и Элька. Но, когда в соседней квартире водворился на перманентный постой «диверсант» Гомон — и эта мамина надежда благополучно умерла. Как и сама она вскоре.

Накануне Затонский проснулся посреди ночи оттого, что мать громко звала его низким, взволнованным непривычно голосом. Затонский, по-стариковски кряхтя, выбрался из постели и пошел к ней, чуть приволакивая тонкие, запредельно волосатые ноги. В комнате зажжен был верхний свет, мать выглядела не в шутку напуганной.

— Вот послушай-ка, — она приложила жилистую, короткопалую руку Затонского к своей груди. — Слышишь? Вот будто побегит, заторопится — и стало. Побегит-побегит — и стало. Слышишь?

Затонский не слышал.

— Нормально вроде, ма, — сказал он. — А вообще — давай вызовем скорую. Если болит. Что мы тут гадаем? Я сейчас позвоню.

— Да не надо никуда звонить, — с какой-то досадой даже отвечала мать. — Может, и вправду показалось. Вроде как полегчало уже.

Тревога в глазах ее истаивала. Затонский постоял еще какое-то время у кровати — ноги его, два шерстистых, кожей обтянутых костыля, жутковато вытарчивали из полосатых семейных трусов — а после мать сама махнула ему рукой: «иди, мол» — он и ушел. Заснуть не получалось, потому он оделся и сел за компьютер — нужно было работать, таскать эту самую руду. Мать больше не беспокоила его этой ночью. А на следующий день померла прямо на работе — сердце.

По-настоящему он осознал смерть ее много позже — месяца два или три спустя. Затонскому, помнится, понадобилось что-то в ее комнате, он поискал, нашел и, уже на выходе, заметил халат ее, так и оставленный висеть на двери. Математик помял в пальцах ситцевую ткань, после поднес ее к лицу и понюхал — запах был тот самый, родной, материнский, с легкой примесью больницы запахом, памятный по детским еще годам.

Халат — константа, постоянная, а мать — переменная. Мозг, по привычке, работал в математической плоскости, но тут же, устыдившись, Затонский мысли эти зачеркнул, скомкал и выбросил прочь из головы... По сути, однако, все было верно. Халат висел здесь при ее жизни и продолжает висеть сейчас, а мать — была и нет ее, и никогда больше не будет. Только теперь, при виде веселенького этого, пахнущего матерью ситца, по-настоящему осознал Затонский, что значит это — никогда, и тихонько, поскуливая и всхлипывая, как ребенок, заплакал.

* * *

Вспомнился и еще момент, неприятно его поразивший. Как-то, ближе к лету, возвращаясь с работы, Затонский кинул мельком взгляд на блекло-голубую беседку в глубине двора — летела оттуда матерщина, стучали гулко о столешницу костяшки домино — мужики привычно забивали козла. Ничего экстраординарного здесь не было. Каждый год, едва только устанавливалась более или менее теплая погода — занимали они освященный традициями плацдарм свой — чтобы сдать его уже с осенними холодами.

Всегда, сколько помнил себя Затонский, с весны и до осени мужики сидели в небесной беседке, тянули потихоньку водяру и гробили рогатое животное.

Но позже, когда он поужинал и сел работать, снова навалилась она — тяжелая, звонкая пустота, и будто существо мелкое вспрыгнуло Затонскому на голову, расположилось там по-хозяйски и принялось тюкать-долбить в самую макушку острым стальным клевцом.

Вот именно, что ВСЕГДА — понялось ему. Двадцать лет назад, когда он был совсем еще зеленым пацаненком, и десять, и сейчас — всегда они забивали козла. И еще двадцать лет пройдет, и полвека — ничего не изменится. Все так же мужики будут сидеть в блекло-небесной беседке, попивать водку, материться и грохать о стол костяшками домино. И наплевать им с Эйфелевой башни на все и всяческие закономерности, которые он собирается математически обосновать.

Он может благополучно завершить труд свой, прославиться, разбогатеть, получить Нобелевскую премию, или, напротив, сжечь необратимо мозг в мучительных попытках обрести истину, сойти с ума и переехать на постоянное местожительство в дурку — но и в том и в другом случае, доведись ему снова оказаться в своем дворе, картина останется неизменной — мужики будут сидеть в беседке и забивать вечного козла. Где здесь движение? Где развитие? Зачем тогда все? К чему корячиться каторжно и недосыпать, выкуривая по две пачки сигарет в сутки — если это никому не нужно, если неспособно это хотя бы что-то изменить?

Вообще, в последний этот год все шло из рук вон плохо — и даже хуже. Дорога, ровной линией уходящая вдаль и тающая у линии горизонта, свилась теперь в петлю, и петля эта стягивалась сильнее и сильнее, перекрывая всякий кислород. Всюду была измена — что уж тут говорить, если даже Рерих, какого безмерно уважал Затонский, подложил ему такую свинью?

* * *

И не то страшно, что диверсант Гомон, поселившись у бледной Эли, бесконечно пилил, сверлил и долбил, создавая массу вредного шума. Нет, не то — хотя, казалось Затонскому, если бы все время, что работала дрель, диверсант сверлил одну и ту же дырку, то давно бы уж добрался до земного ядра, прошел его и вышел

на обратной стороне Земли. Куда хуже был факт, что супружеское ложе Гомона и бледной Эли находилось непосредственно за стеной, и все подробности их половой жизни, до скрипа пружин включительно, были Затонскому слышны досконально. Оставалось только гадать — случайность это или тонкий садистский расчет: ведь всякий порядочный человек знает, какой повышенной звукопроницаемостью обладают хрущевские стены (в том, что все приличные люди вышли из хрущоб, сомневаться не приходится).

Поначалу, слушая застенные стоны бледной Эли, Затонский жалел ее даже: шутка ли, когда на тебя взгромоздятся сто тридцать килограммов диверсанта, да еще и не будут при этом лежать без движения — наоборот! Однако жалости этой быстро приступил конец: встречаясь с Элей на лестнице, Затонский не мог не отметить, что супружеская жизнь с прапорщиком явно пошла ей на пользу — алебастровый оттенок кожи сменила здоровая розовость, и вся Эля как-то округлилась, пополнила и сделалась более женственной — вот чертов прапорщик! В плане секса, надо отдать ему должное, он был более изобретателен и неутомим, чем в свое время Затонский. Намного более изобретателен. Несравненно более изобретателен и неутомим — если совсем уж честно.

Но хуже всего то, что эти их забавы не дают ему сосредоточиться. Ему, Затонскому, некогда заниматься всякой ерундой, нужно вкалывать, таскать на собственном горбу руду, складывать тот самый пазл, который во многом прояснит картину мира — а вместо этого едва ли не каждую ночь приходится слушать бойкий пружинный скрип, все более страстные стоны и вскрики Эли и рык звериный неистового Гомона — куда это годится?

Одно время Затонский даже подумывал перебраться в комнату матери — но после мысль эту с негодованием отверг. Какого черта он должен капитулировать, скрываться, бежать от низменных африканских страстей? Он — творящий в этой жалкой, с выцветшими обоями, комнатушке историю! Кто вспомнит через сотню лет диверсанта Гомона? Кто вспомнит вероломную Элю? А его, Затонского, имя золотыми буквами запишут на скрижалях истории. Что такое «скрижали» — математик представлял смутно, но не сомневался, что так оно и будет. Будет — если только ему перестанут мешать и дадут сконцентрироваться на работе.

А между тем — не давали, и не думали даже давать. Напротив — сексуальные пиршества за стеной делались все продолжительней и изошренней. Диверсанту удалось-таки разбудить в Эле ту неукротимую, жадную до мужского тела природную самку, которую Затонский до того едва не усыпил окончательно, совокупляясь с отстраненностью истинного мыслителя, аккуратно, вяло — и всего дважды в неделю.

Так или иначе, узаконенные оргии за стеной продолжались — и Затонский одно время даже предпринимал ответные меры. Выждав, пока возня за стеной примет предоргазмичное звучание, он хватал тот самый, матерью подаренный утюг и принимался методично долбить им в стену. Возня с той стороны разом стихала и возобновлялась лишь несколько минут спустя — но уже в гораздо более скромном диапазоне. Действовало это средство безотказно. Представляя, каково им там, за стеной, быть прерванными перед самым полетом в блаженство, Затонский поеживался даже от собственной жестокости. Но те, в конце концов, вели себя по отношению к нему не менее безжалостно, не давая углубиться в материи неизмеримо более важные, чем жалкие испытания на полигоне кровати — так почему он должен поступать милосердно?

Затонский не сомневался, что рано или поздно диверсант непременно набьет ему морду — и потому несколько не удивился, когда тот действительно остановил его как-то на лестнице. Забавная эта была картина: маленький и сухой, черный, как жук, Затонский, и громадный, скандинавского типа, Гомон с этими своими глазами мечтательной гимназистки на обветренной роже викинга — и тот, и другой в своем роде были замечательны.

— Послушайте, Александр, — сипловатым, но крайне интеллигентным голосом молвил Гомон (еще одна загадка, для Затонского неразрешимая: ну откуда, откуда у вояки-диверсанта интеллигентный голос, и как он, интересно, с ним управляется, в армии-то?) — Давайте поговорим, как взрослые люди. Зачем вы это делаете?

Затонский молчал.

— Да, да, я понимаю, у вас с Элей были отношения, и вряд ли мое появление принесло вам много радости — но она, в конце концов, сама сделала свой выбор. Никто ее не принуждал. И предпочти она вас — я воспринял бы это как должное и не стал бы ме-

шать. Мы с ней муж и жена, знаете ли. А вы — серьезный человек, ученый — ведете себя как ребенок.

Затонский молчал. Гомон вдруг смутился, льдисто-голубые глаза его обрели беспомощное выражение.

— Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать, — совсем уже неубедительно промямлил он. — Я понимаю ваши чувства — поймите и вы мои. Вы же умный человек. Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Всего хорошего.

Гомон, легко неся огромное свое тело, заспешил по лестнице вниз, а Затонский, хмуря почти брежневские брови, поднялся к себе. Ну, что за тип этот Гомон! Тоже, диверсант, называется! А ведь участвовал в боевых действиях, награды имеет... Ведет же себя в точности, как гимназистка. Вместо того чтобы элементарно набить рожу, пускается в совершенно бесполезные объяснения. Врежь он Затонскому в челюсть — и все стало бы на свои места. А так — получается, что Гомон во всем прав, великодушен, мудр и всепрощающ, а он, Затонский — кругом виноватый подлец, разрушающий зловредным своим утюгом гармонию семейной жизни. Что за прапорщики пошли нынче в армии! Да еще и по выставкам художественным шляется — ну, ни в какие ворота! Однако тактика, а может, искренность Гомона сработали — нарушать половую идиллию Затонский перестал. Он перебрался-таки в комнату матери.

* * *

В один из летних четвергов математик, возвращаясь с работы, особенно был пасмурен, две глубочайших складки резали смуглый лоб. Во дворе он кинул взгляд в сторону небесной беседки, хотя мог бы и не делать этого: мужики, разумеется, были там, матерились и вколачивали в стол неизменные кости — все, как всегда.

И та же, ставшая уже привычной, тяжелая, звонкая пустота. Затонский послонялся бесцельно из комнаты в комнату, после прилег на кровать и закурил, выдувая дым в потолок.

Работа застопорилась совершенно. Надо признать, он дошел до края. Или до ручки — это уж кому как нравится. Хотя и так, и этак будет неверно. Он вообще никуда не дошел, и не может дойти. Та дорога, что уходила к горизонту, тая в вечернем сумраке, теперь в удушающую свилась петлю, и целый год он ходит по кругу, оставаясь, по сути дела, на месте.

Дорога, тающая у линии горизонта... Идя по ней, я разучился смотреть по сторонам, сказал он себе. Умерла мать — а я почти не заметил этого. Бледная Эля ушла к прапорщику Гомону — но мне некогда было скорбеть об утрате. Я слишком был занят на этой дороге, уходящей за горизонт. Я только и делал, что терял — но ни о чем не жалею и ничего не прошу. Кроме одного — веры. Веры! Той самой веры, без которой я не могу и на сантиметр продвинуться вперед. Веры, которая оправдывала все — и которой я сейчас лишен. Веры, без которой дорога, уходящая за горизонт, обратилась в петлю, и петля эта давит все сильнее, лишая меня всякой возможности дышать. Все, что нужно мне — это вера...

...и тишина! Элементарная тишина! Невообразимый музыкально-праздничный грохот стоял за стеной — в ярости Затонский вскочил на ноги. Сволочи! Проклятые бездельники! Не работают сами и другим не дают! Сейчас он пойдет и выскажет все, что о них думает — всклокоченно-черный, сверкающий зло белками, математик действительно был грозен. Нет, все-таки имелись у них в семье кавказские корни!

Дверь открыла Эля — безбожно красивая, как влюбленная Клеопатра в лучшие свои годы.

— Вот молодец, — сказала, улыбаясь, она. — Значит, не забыл еще, когда я родилась? Ты проходи-проходи — погуляешь с нами немного. А то все работаешь, работаешь — надо же и отдыхать когда-нибудь. Как продвигается?

И минуту спустя Затонский уже сидел за столом, между сержантом-разведчиком, таким же массивным, как и Гомон, воином, и крашеной в три сумасшедших цвета рыхлой бабенкой, Элиной коллегой из Фонда социальной защиты — сидел, поглядывая то и дело на королевствующую во главе Элю и решая ребром оставшую перед ним задачу.

Не может этого быть. Это оттого, что он выпил — вот и лезет в голову всякая блажь. Он не пил целый год, а теперь выпил — и Эля, надо отдать ей должное, на диво сегодня хороша. Ну ладно, ладно, пусть хороша — но разве связано это хоть малым самым образом с тем, что происходит с ним в последнее время? Не может этого быть. Или все-таки может? Неужели все дело в том, что в свое время он прозевал бледную Элю, не сберег, отдал ее без

боя диверсанту Гомону — чтобы расплачиваться теперь безверием и утратой пути? Что, если так и есть?

...Гомон, между тем, громоздясь над столом, демонстрировал шашку в богатых ножнах, привезенную из последней командировки.

— Не дамаск, нет — обычная гомогенная сталь, — объяснял, застенчиво улыбаясь, он. — Но закалка отличная, и отточена — волос рубит. Мы в одном доме целую коллекцию взяли. Обратите внимание на изгиб клинка...

Затонский уже выбрался из-за стола и шел к диверсанту. Лоб математика по-прежнему был нахмурен, он то и дело морщился, будто от кратких приступов боли, да так оно и было — тот, маленький, настырный и злой, снова долбил его в самое темя острым, блестящим стальным клевцом и, ударяя, посмеивался и приговаривал: «Прозевал, прозевал, прозевал...»

Гомон, хлопнув дважды ресницами, выблеснув дружелюбно кипенно-белым, вложил в протянутые руки оружие. Затонский потащил из ножен зеркальный клинок, отсвет упал на сосредоточенный лик его.

— Хорошая какая сабелька, — пробормотал раздумчиво он, все с тем же лицом человека, решающего сложнейшую, захватившую его целиком задачу.

— Это шашка, — еще раз улыбнувшись, вежливо поправил Гомон.

— Шашка так шашка, — согласился Затонский охотно. И, неожиданно и страшно даже для себя, взметнул клинок над головой, зажмурился и, теряя сознание, рубанул что есть силы по месту, где должен был находиться Гомон...

* * *

— ...и никакой милиции! Пустяк, царапина — хотя, честно сказать, могло быть и хуже. Кто же мог ожидать...

Затылок ныл нестерпимо — видимо, падая, он основательно приложился им к полу. Открыв глаза, Затонский видел три матовых плафона, а рядом — топорную физиономию Гомона. Живого и почти невредимого Гомона — осмотрев диверсанта детальнее, Затонский обнаружил, что кисть левой руки белеет свежим бинтом. Сам математик лежал на полу, с двух сторон его крепко дер-

жали за руки — сидевший рядом с ним за столом сержант и еще один из диверсионного племени.

Стоило ему проявить признаки жизни — тут же все и всяческие звуки смолкли, даже Гомон прервал неторопливую свою речь.

— Отпустите, — сказал Затонский хрипло. Гомон кивнул головой — державшие ученого разведклевцы разжались. Ощупывая терзаемый болью затылок, математик поднялся кое-как на ноги. Тишина была упоительная — как ночью в морге в мертвый сезон.

Все встало на свои места. В две или три минуты, что он был без сознания, непостижимая химическая реакция произошла в мозгу, и все виделось теперь в истинном свете. Это, впрочем, легко проверить. Гомон, встретив взгляд его, увел в сторону мерзлоголубые, девичьи свои глаза. Сослуживцы диверсанта с нескрываемой смотрят злобой: так, кажется, и разобрали бы на части, разделали ученую тушку! Трехцветная коллега с ужасом глядит и непониманием, а Эля — прекрасна брызжущей из глаз новорожденной ненавистью. Все правильно — так и должно быть. Он, Затонский, глубоко заблуждался, полагая, что причина в ней, Эле. Все проще, или сложнее, но Эля — бледная, как раньше, или налитая соками жизни, как сейчас — совершенно здесь ни при чем.

Он только что это понял. Год мучился и блуждал впотьмах — а понял только сейчас. Год, оказывается, он обманывал себя, цепляясь с отчаянным упорством за то, что принадлежало ему когда-то — потому и дошел до такого состояния. А все, оказывается, просто. Нельзя служить двум богам. Дорога не терпит компромиссов. Хочешь идти по ней — откажись от всего. Забудь о том, что имел когда-то. По дороге этой ходят налегке — а то ведь можно и не добраться — и лишь в одиночку. Потому-то они сейчас вместе — злобой объединенные, ненавистью, презрением, непониманием, чем угодно, а он — один. Так и надо. Так и должно быть. Любовь, признание, деньги и цветы — все там, за горизонтом. Но дорогу эту ты должен пройти один — вот и весь секрет. А все остальное, включая утраченную Элю — выдумка, нервы, блажь.

В полнейшей тишине Затонский повернулся и пошел из комнаты прочь — никто не шелохнулся и не произнес ни единого слова. Дома он сразу лег в постель — чтобы вздремнуть час-другой и приступить к вычислениям. Затылок ныл нестерпимо, но мозг работал отлаженно, точно, ясно, как не бывало уже давно. Затон-

ский прикрыл глаза — и улыбнулся. Не было ее, удушающей петли, дорога ровной линией уходила вдаль и таяла у линии горизонта — та самая дорога, которую он должен пройти один.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ОКНА

...на Первом участке торфзавода, прошитом-пронизанном поперек и вдоль прочнейшими нитями «блатной» романтики — с дерганым, нервы крутящим в жгут, фартом; деньгами скорыми и, как следствие, краткими; беспощадной кровью и роскошной, из копеечной лавки, бижутерией — теми самыми нитями, унылогубительный цвет которых открывается далеко не сразу, — и много позже, чем надо бы. Или не открывается вовсе.

И посейчас думается, что многие друзья-товарищи ушедшего отца ворвались однажды, да так и застряли там, в вечных двадцати: с деревянной танцплощадкой под ивами у пруда — ни одни танцы не обходились без мордобоя, и редкая неделя не знаменовалась поножовщиной... С нестройно-дружными песнями под «Агдам» и две гитары в яблоневых вечерних садах; с первыми сроками, за какими грядут неизбежно вторые и третьи — чуть ли не в каждой семье непременно кто-то сидел, готовился сесть или только что освободился... С понимаемой по-своему, бескомпромиссной и безжалостной справедливостью и упорным нежеланием сделаться частью обывательски-нормального социума... С непотопляемой, как ты ее не тычь башкой под воду, упрямо-бессмертной верой в лучшую жизнь и за горизонт уходящие поля нетронутой земляники...

Да, да, именно так. Люди эти — прежние друзья отца — категорически не желали взрослеть и расставаться с иллюзиями юности, и даже годы спустя наиболее упрямые, превратившись в ООР¹, поднаторев и ожесточившись в ограниченном не ими пространстве, заимев туберкулез и бывая дома лишь в кратких перерывах между отсидками — сохраняли на жестких, изломанных лицах неизжитой, свойственный лишь начинающим людям отсвет бесшабашной и слепой веры, какой так трудно сыскать на правильной и скучной, как стиральная доска, физиономии «настоящего» взрослого...

¹ООР (*аббр.*) — особо опасный рецидивист.

Не оттого ли и позже, когда семья их получила, наконец, квартиру на Третьем, где имелись все зачатки убогой, но цивилизации: школа, детсад, два магазина, поликлиника и больница, клуб, заводоуправление и сельсовет — не оттого ли и потом его так тянуло на этот самый Первый, хотя, чтобы добраться до него, приходилось топать пять, без малого, километров вдоль узкоколейной насыпи, либо столько же — по гравийке, режущей край матерого, мрачного ельника.

Да он и не отказывался, и желал, напротив — топать, потому как все, все они обретались там, в трех десятках почерневших от времени и стихий одноэтажных барakov:

...знаменитый Вася-Тунгус, счастливый обладатель вишневой «Явы» — пучеглазый приземистый крепыш с пуленепробиваемым лбом, как-то в одиночку одолевший в кулачном бою двенадцать молодых мужиков из вражьей Подсеменовки — он и больше бы сложил в штабеля, когда б вороги на том не иссякли...

...Сашка-Доцент, кудрявый, в отличие от киношного своего прототипа, но не менее напористый и авторитарный, до тридцати успевший трижды отсидеть и дважды объехать в погоне за долгим рублем едва ли не весь Союз, включая Карелию, Сибирь и Дальний Восток — завзятый матерщинник и грубиян, трепетный поклонник Владимира Семеновича и отец троих детей от такого же количества жен...

...Доллар, настоящего имени какого в анналах не сохранилось — итальянской волосатости, смуглявый и пьяный пожизненно симпатяга, ведавший складом ГСМ и с конца восьмидесятых заимевший устойчивую привычку везде и всюду, даже с самогонщицами, расплачиваться не иначе, как американской твердой валютой...

...Толик-Длинный — разболтанно-ленивой грацией, усыпляющей флегмой движений двухметрового своего тела походивший на сетчатого питона — и не менее чем питон, опасный в ситуациях форс-мажора, когда твоя, да и не только, жизнь стоит на кону и зависит лишь от умения угадать момент да ударить первым — здесь Толик молниеносен был, опытен и надежен, за что имел вес немалый в соответствующих кругах и неизбывные проблемы с законом...

...и, конечно же, Вадя. Вадя! Живая легенда Первого участка, гениальный технарь-самоучка, обладавший волшебным умением реанимировать любой не подлежащий восстановлению техниче-

ский хлам — будь то бобинный магнитофон, телевизор, пылесос или военный ГАЗ-66...

Вадя, посредством двух мощных, широких в кости рук вкупе с минимальным количеством инструмента способный сотворить самые нерукотворные чудеса — от мотоцикла оригинальной конструкции до надежнейших ножей-выкидух, какие он сочинял мигом и походя, из чистой любви к искусству, взямая за то символическую плату самогоном в количестве ноль-пять...

Вадя, скроенный атлетом, отслуживший, как и положено, в ВДВ, но не где-нибудь, а «за рекой», и вернувшийся из Афгана с медалью и группой инвалидности по психическому здоровью...

Вадя, имевший в абсолютно незаконном распоряжении массу самых притягательных для всякого нормального пацана вещей огнестрельного и холодного толка — от саперного тесака самодержавных времен до ПТР последней Мировой и АКМС-74 — и хранивший их в самолично вырытом, оборудованном по всем правилам науки и надежно сокрытом мини-бункере, вход куда дозволялся лишь самым надежным и проверенным из друзей. И он, четырнадцатилетний пацан — горд без меры был оказаться в избранном их числе.

Вадя — человек, почти занявший в сердце его нишу, предназначенную для отца — после того, как сам отец сменил неожиданно семью и прописку, не утруждая себя какими-либо объяснениями. А чем видится такое в четырнадцать лет — кроме как не предательством? Не должны они, главные ниши, пустовать — оттого и тянуло-звало необоримо на Первый, оттого...

* * *

...и теперь, помещенный в июньский, тридцатиградусной жары, пейзаж, шагал он в рабочий поселок, подсчитывая машинально тела спящих обочь дороги работяг: в пятницу мужики начинали квасить с самого утра и к обеду едва уже шевелились — что уж тут говорить о пути вечером домой, перемежаемом то и дело дозаправочными алкогольными паузами?

И люди шли, атакуемые спиртовым и температурным градусами, люди боролись, пока доставало сил, а после, сломленные, выбывали из рядов, падали в щекочущий шорох травы и похмельный мучительный сон, успев напоследок сообразить, что

на произвол судьбы их не оставят: раньше ли, позже, явятся заматанные жены, отыщут ненавистно-родные тела, установят вертикально и препроводят, где пинками, где крепким словом, к аскетичным пенатам...

Мужики, отключившись вглухую, храпели, а он шагал — второй уже раз за день. Первый был в полдень.

...Тогда, днем, Вадя, в застиранном до блеклости невозможной, штопанном тысячекратно тельнике сидел на лавочке у забора — черно-лаковые, до плеч, волосы, лицо Чингачгука, мускулы Гойко Митича — и колупался в нутре оцетиненной проводами железяки. Пацан поздоровался за руку — еще одна дарованная ему привилегия — и сел рядом.

— Когда на работу? — спросил он.

— Завтра надо было, да я отгул взял, — Вадя вкалывал на вредном производстве, по графику «сутки через трое», в полусотне километров отсюда. Платили там, в ракурсе общеперестроечной нищеты, по-царски.

Пожилая коза Вероника — поименованная в честь Вероники Кастро — подбежала и ткнулась несильно в колени. Пацан, прихватив животину за рога, поборолся слегка, шлепнул по теплому боку.

— Наблюдал когда-нибудь такое? — Вадя потянул из пачки штук шесть сигарет «Космоса», сунул Веронике в морду — та слизала вмиг и благодарно заблеяла.

— Ни фига себе! Я знал, вообще-то, и раньше, но чтобы с фильтром!.. — Он улыбался, а Вадя, без всякого перехода, добавил:

— Нина Федоровна померла ночью. Мамка моя. Такие дела...

— Да ну!?

— Гну! Иди посмотри, дурачок!

Он поднялся на две ступени, вошел в забитый под завязку техническим утилем коридор, потянул на себя тугую разбухшую дверь и замер: бесформенное, страшное в своей голости мертвое мясо старухи лежало на столе в самом центре комнаты. Воздух был сладок, тягуч и плотен. Три товарки ее — живые — споро протирали дряблую белизну тряпицами и, обернувшись на дверной скрип, погнались его взмахами рук прочь.

— Как же так, Вадя? — спросил он, оказавшись снова на улице. — Ведь позавчера еще, помнишь, ругалась, Доцента палкой лупила, да и всем тогда перепало...

— А вот так! Чего ты хотел? Ей в апреле восемьдесят шесть было. Понял? Она меня поздно родила. Мы с тобой, после Чернобыля, столько хрен протянем. Даже и не надейся! Вчера, позавчера, завтра... Все подохнем — придет время... И ты, и я, и Доллар, и Тунгус... А сейчас вот Нина Федоровна, Эн Эф моя крикнула. Пожила уже, хватит с нее! Вредная в последнее время была, сам знаешь... Да оно и понятно. Жить хочется, а жить — нечем. Организм свое отработал. Померла и померла — хрен ли тут говорить? Ничего, привыкнешь! Хоронить надо скорее — жара. И так уже в хате дышать нельзя. До завтра полежит, а там свезем-закопаем. Ну, че ты пасть раззявил? Че ты скулишь?! — выверился неожиданно он. — Я у нее всю жизнь допроситься не мог, кто мой батка! Гуляла, точно невменяемая, — как тут узнаешь? На всю катушку — молодая, красивая, как же... А меня Амуром до тех пор, суки, дразнили, пока в силу не вошел да морды за то чистить не начал. Амур, дитя любви!..

Он, взорвавшись и отгремев, продолжал много спокойнее — но пацан перестал вдруг что-либо понимать: как будто прежние вращались шестерни, а вот сцепление между зубцами исчезло. В один не уловленный миг.

...То самое, уже знакомое ему ощущение нереальности происходящего дохнуло пьяняще-жарко, обволокло и не отступало. Он повел искоса глазом на Вадю — так и есть! Оно самое! «Беседы с духами» — так зовет это Сашка-Доцент. Мистика, тайна, загадка... То, за что Вадя и получил свою «группу» — зрочки его утеряли фокус, а речь медленной сделалась, почти неразборчивой и бессвязной, как будто кто-то ДРУГОЙ, до поры сокрытый в неизведанной глубине, выявился разом и сменил друга, вещь из его оболочки. И это острое, чуть пугающее и расслабляющее одновременно, как гипноз, чувство — сродни бесконечно далеким проблескам-вспышкам звезд в туманном осеннем сумраке... Кто-то нездешний беседовал на незнакомом языке, но если поднапрячься, как следует, то можно, можно — понять, думалось ему. Чуть-чуть дотянуться, допрыгнуть, заглянуть — и постичь ее, извращенную логику безумия. Или, напротив, единственно верную логику. И он, бездвижный, вслушивался до боли в голову с петель рвущий бред, пытаясь вычленивать вспыхивающий кратко и гаснущий тут же смысл, он слушал, вслушивался, вникал — а потом все

завершилось. Так же мгновенно, как и началось. Голова встала на место. Снова он понимал Вадину речь — но дивился уже другому: недобрым, непонятно-недобрым ее интонациям.

— ...вот так, малой! Ладно, ты иди. Мне тут с гробом, машиной, да и всем остальным решать надо. Завтра приходи к двенадцати — на кладбище повезем. Давай, малой, не до тебя сейчас!

— Ты как вообще, Вадя? Ты в порядке? — он все тянул, медлил и медлил, не решаясь отчего-то уйти, и — нарвался.

— Да ты достал, слушай! Нормально, малой! Нормаль-но! Только так! — Вадя уже не улыбался, более того: впервые пацан видел его, обычно невозмутимого, в открыто читаемой неприязни и злобе. — Сказал же — все хорошо! Все пучком. Давай, малой — двигай! Некогда мне!

Вот тогда он и ушел. Обиделся до самого нутра, до середины костного мозга — и ушел. «Двигай давай, не до тебя сейчас!» Вот дела! Как будто он напрашивается! Сами же и приняли в свою компанию, дозволив бывать беспрепятственно на всех их сборищах-пьянках-беседах, а теперь — пожалуйста: «не до тебя!» Да от кого услышать — от Вади, которого он почти боготворил! И на тебе — «некогда, не до тебя, достал!» А он здесь разогнался было со своими утешениями! На, получи! И правильно — не лезь, куда не просят! Только-только начал он ощущать себя взрослым и чего-то стоящим — еще бы, вращаясь среди самых отчаянных сорвиголов Первого! — как Вадя, на какого он едва не молился, играючи, мимоходом, стащил его за ноги с небес и брякнул о вечерашнюю землю. Показал ему, кто он есть. А кто он есть? Да никто! Никто, и звать его — никак! Мелочь, сопляк, ребенок. Молокосос. Щенок. Но Вадя-то, Вадя... Да, он воевал, у него, после Афгана, проблемы с головой — но орать-то зачем? Зачем орать? Постойка — сказал он себе. У него, вообще-то, мать померла. Нина Федоровна. Эн Эф. Ты можешь представить себе, как это — умерла мать? Можешь? Нет! Не могу. Не стану даже и пытаться. Потому что этого просто не может быть. Это невозможно. Моя мать никогда не умрет. А вот Вадина — померла.

Он стал думать о Нине Федоровне, какую и не помнил иной, кроме как согнутой под прямым углом, крючконосой и грузной старухой в засаленной, повязанной на пиратский манер косынке, из какой выбивались там и здесь грязно-серые космы. Когда они

собирались у Вади, чтобы скоротать зимний вечерок за приятной беседой под самогон, бражку или винцо — Эн Эф провожала последний покой. Выходила из себя и материлась изощренно беззубым ртом, на метры выбрызгивая яд слюны.

...На него-то, положим, она никогда не сердилась. Ему не наливали, да и сам он, честно сказать, не стремился. А вот Сашку-Доцента, Толика-Длинного, Васю-Тунгуса или Доллара — Эн Эф откровенно ненавидела. Когда эмоции спорщиков восходили на пик и закладывало от децибел уши — один Доцент нецензурным рокотом своим мог бы запросто перешуметь самолетную турбину, — Эн Эф, стуча азартно в пол клюкой, выбиралась из своей клетки — голова на уровне разбитого таза, палец левой руки выцеливает хищно-голодно объект атаки — и принималась громить. Многим ругательствам он обучился именно от Эн Эф. Иногда в кармане растянутой, метущей пол кофты у нее обнаруживалась свернутая в трубку двухкопеечная тетрадь и обломок карандаша — каковые вручались тут же ему.

— Пиши, Сережа, пиши, пиши — шепелявила-шипела она. — Считай их, сук, считай и записывай! Завтра придет участковый — пусть разбирается! Всех в ЛТП сдам, сволочей! Поспать порядочной женщине не дадут!

Для вида он что-то черкал, пряча улыбку — Эн Эф слишком была стара, чтобы хоть малость кого-то напугать, сама о том знала — и лютовала оттого еще горше. С Вадей они ладили не более чем браконьер с рыбнадзором, организуя то и дело редкие по эмоциональной глубине и насыщенности перепалки.

Да, только такой он Эн Эф и представлял — и потому для него откровением стали Вадины слова о том, что когда-то и она была «молодой и красивой». Он не умел еще верить, что все старики были когда-то молоды — как не верил и в собственную старость.

Вадя, впрочем, и еще много чего о ней говорил — но уже нехорошего. Совсем нехорошего. Хотя о мертвых, знал он — не принято говорить плохо. Тем более, о своей матери. А Вадя — говорил. Хрен их поймешь, этих взрослых! Хотя, если разобраться — чего тут непонятного? Больше он туда не пойдет. Не пойдет, и все! Большой, маленький, но когда гонят тебя, как приبلудившегося случайно, по первости обласканного, но наскучившего быстро щенка — тоже ведь не станешь терпеть. Маленький ты или боль-

шой. Тем более, от кого — от Вади! Да он и не собирается — терпеть. Все! Кончено! На Первый я больше никогда не пойду!

* * *

И все-таки он туда пошел. Вечером того же дня. Перед тем маляся в прохладе бордовой комнаты, читать пробовал, включал телевизор, подумывал было собрать пацанов да мяч попинать на школьном стадионе — и вынужден был признать, наконец: что-то здесь не так! Не так, как должно быть. Что-то... Все, если разобраться не так! А что — все? Я не знаю — сказал себе он. Просто я — должен. Есть такое, не из любимых, слово. Но я должен туда пойти. На Первый. К Ваде. По-другому — нельзя. Не знаю, почему и зачем, и как уживается это «должен» с дневной обидой — разбираться будем потом.

...Проходя мимо второго от дороги барака, он видел, что перекошенная, крытая кубовой краской дверь Сашки-Доцента распахнута настежь — и повернул туда.

Доцент, Доллар и Тунгус отдыхали на кривых табуретках в кухне, созерцая угрюмо работу грамотно построенного самогонного аппарата. Рюмахи для дегустации первача, как мог судить он, были налиты и опорожнены уже не раз. Суровые груди плакатной Саманты Фокс будоражили и обещали с деревянной стены. Двухкассетный «Шарп», привезенный Сашкой из Владика, целовал в душу «Банькой по-белому».

— Ну, что нового? Как там Вадя? — спросил, едва поздоровавшись, он.

— Вадя... Вадя... Вадя... Да в гробу я видал твоего Вадю! Все! Как отрезало! Будешь? Семьдесят пять верных, только что новым спиртометром мерили! Вадя... Ссука! Давай, Серррега! — Доцент, дернув шей, выskalив желтый клык, потянулся было налить; пацан отодвинул рюмку.

— Да не люблю я! Знаешь же, не люблю, — сказал он. — Расскажи лучше, Доцент, че было-то. Доллар, че было? Тунгус — да что тут у вас стряслось!?

Ему и рассказали.

До поры подвигалось все гладко — чин чинарем. На проржавевшей «Ниссе» Доллара они слетали в Город за венками, продуктами и магазинной водкой, завернули на обратном пути на пилораму

Завода, забрать кумачовый гроб — и воротились к четырем пополудни домой. Вадя был задумчив, хмур и немногословен — как и положено скорбящему сыну. Правда, пару раз за поездку он порывался-таки «беседовать с духами» — но кратко и нетревожно.

Эн Эф, омытую, облаченную в последнее-новое, уложили в домовину, лицом к востоку. Колебался свечной огонек, и лампада сияла неугасимо. Траурные старухи неотступно находились у гроба, дабы обеспечить умершей надлежащее сопровождение. Старухи читали псалмы и плакали, плакали и пели псалмы — и Вадя затосковал. Он выходил из комнаты в кухню, и возвращался в комнату, и бывал не раз в закутке матери, обнаженном смертью и жалком в новой своей пустоте — а потом он исчез.

Исчез, чтобы явиться часом позже. Где ходил он и чем занимался — о том неведомо, но за шестьдесят неизвестных минут «духи», похоже, завладели им окончательно. Вежливо, но непреклонно Вадя просил всех присутствующих покинуть помещение. Слова его затерялись в общем сдержанно-оживленном шуме. Тогда он извлек обрез, выстрелил в потолок и, пользуясь рухнувшей тишиной, повторил:

— Убедительно прошу всех вон в течение одной минуты! Матка¹ — МОЯ. Моя! Сами, без чужих с ней разберемся! А кто ко мне рыло сунет — убью! — И, для верности, шмальнул в квартирное небо еще.

На этот раз призыв его был услышан. Осыпанные побелкой старухи, ввинчивая укоризненные пальцы в седые виски, без малых проволочек удалились. Вадя долго гремел засовами, после закрыл и завесил наглухо желтыми шторами все, кроме одного, окна — и затих.

...Выправлять ситуацию и вправлять Ваде мозги отправились Сашка-Доцент и Доллар. Доцент стоял ближе к двери — и видел, как затерханный дерматин взорвался изнутри ватой. В сантиметрах считанных от его головы. Стреляли, судя по звуку, из обреза мосинской трехлинейки. Стань Доцент на полшага левее — и Первый заимел бы еще одного небожителя. В доме Вадином можно было сыскать все, что угодно — только не холостые патроны. Очень аккуратно Сашка и Доллар сошли с крыльца и подались восвояси.

¹Матка (бел.) — мать.

Стрельба, в общем-то, была для Первого делом заурядным — но за Вадей такого ранее не наблюдалось: только что он действительно едва не положил одного из своих друзей.

Прибывший с работы Тунгус — человек воистину бесстрашный — предпринял еще одну попытку вернуть Вадю на путь разума, порешив проникнуть в дом его сквозь единственное незакрытое окно — и тоже был едва не застрелен. Переплет рамы, за какой держался он, дернулся в руках, как живой, а длинной, оторванной на выходе щепкой ему расцарапало череп до крови.

Тунгус молча повернулся и был таков. Отойдя на безопасное расстояние, он опустился прямо на землю, там, где стоял, и курил, вставляя в пляшущие пальцы одну «примину» за другой. Опомнился он, лишь когда пачка перестала выдавать сигареты. Он по-крупному любил жизнь, Васька-Тунгус — и не испытывал ни малейшего желания с ней расстаться.

Все и всякие попытки после того были, за безнадежностью, оставлены. Вадя творил черное, преступая последние грани. Оттого и взгляды с прищуром неласковым, и желваков свирепый ход... Оттого и первач стахановскими темпами — бальзамом на свежие язвы душ.

Пацан слушал и, слушая, цепенел.

— А что он сейчас? Успокоился — или чудит еще? — спросил, чуть помолчав, он.

— А плевать мне, что он сейчас! — просто отвечал Сашка. — Я этого придурка больного в упор не вижу! Он нас чуть не пострелял к чертовой матери — друг называется! И у меня за него голова болеть должна?! Ни хрена ты не угадал!

— Надо бы пойти посмотреть, — сказал пацан.

— Ага, сходи-сходи. Только что мы потом матке твоей скажем? Когда Вадя наш ненаглядный маслину тебе в башку загонит? А он загонит — к гадалке не ходи. Ты не видишь, что ли — совсем у него крыша поехала. Начисто! «Духи» одолели наглушняк.

— Ничего с ним не случится, малой, — сказал Тунгус. — А ходить не надо. Ему сегодня — ни до кого. Ему с маткой надо — довыяснить, разобраться, договорить. А ходить — не ходи. Никто тебя туда и не пустит. Никто из нас. Он не в себе сейчас. Чуть не натворил тут хрен знает чего — и неизвестно, что дальше будет. Всякое может случиться... Не ходи! Завтра посмотрим, что и как.

— Ну, нет, так нет, — сказал пацан. — Делов-то... Я и не собирался, в общем. Если так, то конечно... Ладно, вы отдохайте — я дамой тогда. Темнеет уже — а я обещал матушке пораньше придти.

Он поручкался и, выйдя за ограду, зашагал в сторону Третьего.

* * *

Добравшись до леса — так, чтобы его не могли видеть со стороны поселка — пацан тут же свернул с дороги и зашуршал низкорослым малинником, огибая Первый полукругом и стараясь подгадать так, чтобы выйти с противоположной его стороны, аккурат к Вадиному бараку.

...Стану я вас слушать, как же — говорил себе, в такт шагам, он. Сам как-нибудь разберусь: куда мне ходить или не ходить. Мне уже четырнадцать, да какое там — пятнадцать! Через три месяца стукнет пятнадцать. Взрослый, можно сказать, человек. Они пусть говорят себе, что хотят, — а я сам решу, что мне делать. Я знаю, еще днем знал, что Ваде сейчас — плохо. Так плохо, как редко, совсем редко бывает в жизни. Тогда, днем, я попытался на секунду представить, что это: когда у тебя умирает мать. Просто вообразить на мгновение — и то не смог. Потому что о таком даже думать нельзя. Такого не может быть. Моя мать никогда не умрет. А Вадина — померла. Тут и самый здоровый человек свихнуться может — что уж про Вадю, с его Афганом, говорить?

Конечно, они жутко ругались. Всегда, сколько я помню, Эн Эф и Вадя грызлись не на жизнь, а на смерть. Пока она и не пожаловала — эта смерть. Главное удовольствие любой ссоры — в примирении. Я сам проходил через это много раз. Только вот помириться с матерью Вадя так и не успел. Обман, кидалово — вот как это называется. Явилась беззубая гадина и отняла у них всякую возможность — примириться. Кидалово и есть. От какого взвоешь, или из обреза лупить начнешь куда угодно и в кого угодно — вообще в белый свет, допускающий такую несправедливость. Потому что ты откладываешь и откладываешь, носишь в себе тлеющий угрюмо костерок обиды, подпитываешься сомнительным его теплом — а потом вдруг оказывается поздно. Срок годности истек. И единственное, что тебе остается — разлагающаяся обвальными темпами чужая плоть, и говорить, объяснять, жаловаться, доказывать и просить прощения — ты можешь лишь в одностороннем

порядке, деля безверие с надеждой, что тебя все же услышат — ТАМ. Услышат и, может статься, поймут. И, если совсем уж повезет — простят даже. И потому нужно это — сосредоточиться, углубиться, войти и остаться — наедине. Наедине с той, для кого ты так и не смог, не успел найти правильных слов при жизни. И пробовать найти их сейчас.

...Когда он вышел к бараку девятнадцать, сумерки сделались гуще. Все двенадцать окон, глядящие на лес, были мертвы. Квартиры под номерами один и два с год уже стояли заколоченными, в третьей доживала полубезумная бабушка Сербиянка, ходившая в лохмотьях, говорившая на собачьем языке и электричество зажигавшая только по праздникам, а четвертая — Вадина. И такая же неживая, без света внутри. Все три его окна. Подойдя ближе, он видел, что одно из них, среднее, действительно полуоткрыто. Помедлив самую малость у багровой калитки, он, встав на цыпочки, сунул через верх руку, поднял крюк и вошел в невеликий, с кривой грушей, дворик.

В дверь стучать он не решился — напуганный донельзя рассказом недавним Доцента. Постоял на крыльце, ковырнул пальцем выходное отверстие — и не решился. Это я себе пытаюсь доказать — что не очень-то и боюсь. А на деле — обоссаться готов со страха. Но раз я здесь оказался, — сказал он себе, — значит, по-другому было нельзя. Значит, я ДОЛЖЕН здесь находиться. Я многое уже понимаю — и не стану ему мешать. Просто побуду рядом. Посижу тихонько: как раз под средним, полуотворенным, окном есть узкая, на кирпичи положенная доска...

Он аккуратно, стараясь не шуметь, сел, откинулся, ощутив лопатками еще теплое дерево стены — и стал внимательно слушать.

...Как будто было там — что слушать. Кроме, разумеется, тишины. Какое-то он время он пытался представить себе, что происходит там, за стеной — в жаркой, напитанной трупной вонью и болью живого темноте. Там, где Вадя, возможно, давно уже высказал Эн Эф все, что намеревался. А ответа, понятно, не получил. И тащит ее на себе — всю тяжесть безответного одиночества. Неподъемную, может быть, тяжесть. Вот потому он и здесь — на случай, если тонны ее совсем уж придавят друга — ни выдохнуть, ни вдохнуть. Не хотел бы он сейчас оказаться на месте Вади — это точно! Да и на своем теперешнем — тоже не верх мечтаний. Трупов,

если начистоту, он изрядно побаивается. Как и живых — а точнее, живого. Кто знает, не пристрелит ли его Вадя на раз, едва обнаружив? Как чуть не угробил совсем недавно Тунгуса и Сашку, корешков своих с самых молодых соплей... Тогда что ты здесь делаешь? — спросил он себя. Что ты забыл здесь, где так неудобно, тоскливо и тяжело? Где от самого воздуха глубинной разит болью, близкой, дыханием в затылок, опасностью? Этого я не знаю. Но твердо уверен: иначе — нельзя.

...Где-то далеко, на другом конце поселка, заорали пьяную песню, подхваченную тут же собаками — и, не доорав, бросили. Когда отзвенели цепи и замолчали дворовые псы, тишину возвратив на место — страх сделался невыносимым.

...А что, если Вади никакого и нет — там, в душно-сладкой комнате? Нет, и все? Если не дозволялся он в сбивчивых монологах, не достучался, не достиг, не объяснил — и, понукаемый черными «духами», сунул повинную голову в петлю? Такое бывает сплошь и рядом — разве нет? А он сидит здесь, как идиот, и пытается кого-то услышать там, где звучать — некому. А вдруг так и есть? Вот, черт! Подстегнутый новым кошмаром, он решился — таки заговорить вслух.

— Вадя, ты меня и не слышишь, я думаю, — начал вполголоса он. — Просто устал и лег спать. Выпил и лег спать. Или трудно тебе сейчас разговаривать. Ты не думай, я тебе надоедать не собираюсь. Ни отвлекать, ни мешать не буду. Так, посижу тихонько рядом... Просто хочу, чтобы ты знал, на всякий случай — что я здесь. Может, тебе потом, позже, захочется поговорить. Когда одиноко станет совсем. Так одиноко, что дальше некуда. Знаешь, я что скажу... Вы с Эн Эф, конечно, ругались, кто спорит... Дико ругались. Но я, бывало, приду, а ты на работе — так вот: она о тебе только хорошее рассказывала. Правда. Вадик — добрый, говорит, сын: и заботливый, и хозяйственный, и деньги в дом несет — только вот не женится никак, а все перекаати-поле, все в компании со злыднями этими: с Сашкой, да Тунгусом, да Долларом... А так — только хорошее о тебе говорила. Я подумал — тебе, может, важно знать это. Конечно, важно. Еще как важно! Я многое уже понимаю, хоть и мелкий пока... Вадя! Ты слышишь меня, Вадя? Ты бы стукнул чем, или кашлянул хотя бы — больше и не надо ничего. Вадя!

С той стороны молчали. Беспросветно и мертво молчали.

Вот именно — мертво. Пацан дернулся даже от заолодившей мысли, а нога правая задрожала крупно и часто — как случилось с ней в серьезные моменты всегда. Он обхватил ее двумя руками, сжимал и придавливал, добавляя вес тела, к земле, будто боролся с отдельным, чуждым, глубоко враждебным ему существом — нога и не думала униматься. Тогда, впервые за вечер, он по-настоящему разозлился — на себя, на ногу, на Вадю, на всю дурацкую эту ситуацию, в какой оказался — и, озлившись, продолжал говорить, теперь уже вдвое громче.

— Значит, ты спишь... И хорошо, раз так. У тебя трудный день был, и завтра — не легче. Это хорошо даже — если спишь. А если нет? Что мне тогда думать? Может, тебе плохо там, помощь нужна какая-нибудь — а я сижу тут и болтаю зря, вместо того, чтобы что-то делать. Конечно, что-то там не так — иначе ты давно бы меня услышал. Услышал и ответил бы что-нибудь. А ты — молчишь. Ладно... Чего я здесь гадаю? Вот сейчас посижу минуту-другую, покурю — и полезу в окно! Слышишь, Вадя? И ругайся ты, не ругайся, хоть в морду мне дай, хоть застрели, на хрен — а я вот покурю сейчас и полезу в окно. И пофиг, что ты мне сделаешь!

С той стороны давили тишиной. Нога словно взбесилась. Пацан закурил — пристрастился он совсем недавно и еще ощутимо балдел от каждой приличной затяжки.

...Да, сказал он себе, сидеть и ждать у моря погоды я больше не собираюсь. Это хуже всего — сидеть и ждать. Я рехнусь тогда — это точно. Лучше уж так: собраться с силами, решиться — и сделать. Рраз — и готово! И все дела. Проблема в том, что я не могу даже предположить, кто находится там, кроме мертвой Эн Эф. Тот Вадя, который почти успел оккупировать в моем сердце место отца? Да, да, оккупировать место отца — именно так и есть. Да и как иначе — если сам старик с полгода назад, не утруждая себя объяснениями, взял да ушел жить к какой-то кикиморе, в Город? «Кикимора» — словечко матери. Сам он ни разу женщину эту не видел. Еще, говорила мать, у кикиморы есть ребенок, девчонка, пятнадцати лет — и «она уже зовет этого скота папой». Ну, и ладно. Ее дело. И, тем более, его — отец-то человек давно взрослый. Отец сам решил — кого бросать, а с кем жить. То, что мать, после ухода его, и двух дней подряд не держится трезвой — вряд ли его сейчас заботит. Стоп, стоп, стоп — куда это тебя занесло?

Беда в том, что я действительно не знаю, КТО там, с той стороны: человек, почти заменивший мне отца — или псих, стреляющий боевыми в любого, кто окажется в поле зрения? Или свежешепешенный труп — того, кто почти заменил мне отца? Кто находится там — по другую сторону окна? Что ждет меня — когда я попытаюсь забраться в темную, напитанную сладостью гниения комнату? Я не знаю. Вот почему мне так страшно. Вот почему я не могу заставить себя — встать. Мне — страшно. Страшно! Или не мне — моему телу. Это оно, тело, сделалось деревянным и отказывается напрочь подчиняться. Отказывается совершить несколько простых движений. Самых элементарных движений. Движений... Действий. Подняться. Повернуться лицом к окну. Встать на шаткую доску. Положить руки на подоконник. Подпрыгнуть. Закинуть ногу, потом другую...

Вот только голову пригнуть ниже, как можно ниже — здесь в проеме оконном, на линии смертельного огня. Ниже, ниже и ниже — пряча, сколько возможно, лицо. Если Вадя не в себе и станет стрелять — я не хочу, чтобы пуля попала мне в лицо. В глаз: больше всего я боюсь, что она ударит в глаз. Знаю, что глупо: куда бы ни угодила она, результат будет мгновенен и одинаков. Но только, только бы не в глаз — и он гнул, сколько было сил, голову, подбородок вдавливая в грудь — и стыл, каменел, истуканел, слепоглухонемой, в квадратной дыре,

... а когда, с минутным совладав безволием, все же пересилили себя и уже готов был ступить, сорваться, ухнуть с подоконника-трамплина в неизвестность и пружинящую неподатливо чернь — навстречу, ослепляя, вспыхнул свет.

* * *

Вспыхнул, чтобы гореть до утра.

А ночь июньскую делили на троих: Вадя, пацан и мертвая Эн Эф.

В большой комнате, где земли ожидала покойница, они ново зажгли свечи, и, дверь оставив открытой на треть, сидели за кухонным столом, чай пили из алюминиевых кружек, хрустели сушками да беседовали на всякие-разные темы. На сугубо отвлеченные темы, сказал бы он — да и что здесь неясного? О том, что действительно важно, совсем не обязательно — вслух. Зачем сотрясать воздух, когда понятно все и без символов-слов? Ему

разрешили войти — а это говорит само за себя. Войти и остаться рядом — значит, он все сделал правильно.

Позже, спустившись в схрон, они вынесли и разложили на верстаке часть Вадиного арсенала — и занялись детальным его обсуждением. Опять-таки: не только и не столько потому, что оружие для любых и разновозрастных мужиков — тема неисчерпаемая и вечная. Нет, чтобы не пришлось затронуть словом то, другое: трудноуловимое, но главнейшее, что возникает между людьми путями замысловатыми, неисповедимыми, странными даже — и, едва народившись и озарив, пугает бескрайней уязвимостью своей и предельной хрупкостью. И потому, опасаясь спугнуть-нарушить, лучше о нем помолчать — о Главном. Вот и занимали они эфир оружейными разговорами — и скоротали за ними ночь, не заметив, как законный фиолет сменился, мало-помалу, серым, а после — бледно-розовым.

Удивительно, но спать ему почти не хотелось. Разве что — самую малость. Полчасика бы вздремнуть, и — порядок.

— Помнишь австрийский штык, что я у Деда в январе на динамит выменял? — спрашивал Вадя, и он, борясь со сном, качаемый размеренно-ласково меж явью лучистой и небытием, отвечал:

— Помню, конечно! Классная вещь. Ты говорил, что на чердаке его где-то посеял, да так и не нашел, среди всего этого хлама. Месяца два назад.

— Верно. Так вот, малой: если не поленишься да пыли не испугаешься — можешь забрать его себе.

— Ух, ты! Спасибо, Вадя! Я его разыщу — обязательно. Ты мне полирнешь клинок потом, ладно?

— Сделаем. Жаль, совсем ты зеленый еще... Но ладно, подожди... Школу закончишь — подарю тебе пистолет.

Пацан благодарно кивал и, просвеченный жарким золотом — не говорил ничего. Он и вообще не знал тогда слов, какими мог бы выразить пронзительно-яркое, абсолютно новое это чувство, полонившее его целиком. Понимание, проникновение, слияние, единение, близость... Нет, все рядом, и все — стороной... Уверенность в том, что любые, даже самые железобетонные доты, воздвигаемые людьми для кровавой и сомнительной обороны — не прочней, чем театральный картон. Стоит лишь вдохнуть, выдохнуть и, о собственной забыв уязвимости — бли-

же, вплотную, в упор. Преодолеть, добраться и увидеть все так, как есть... Так, как должно быть. Должно, только не часто бывает. Совсем почти не бывает — если начистоту. Нет, не выискать мне совпадающих слов...

Да это, в конце концов, и не суть — слова. Все правильные слова найдутся потом. А сейчас, — сказал себе он, — мне достаточно знать, что оно, краеугольное — есть, пусть пока и без имени. Есть — и останется со мной навсегда.

Потому что в четырнадцать, восемнадцать и двадцать лет еще веришь в смысловую его состоятельность — этого «навсегда». А повзрослев и, как водится, разуверившись, начинаешь смутно сожалеть о былом и все чаще ловишь себя на мысли: лучше бы, ей-богу, остаться там, в юности, осиянной бесшабашной, слепой и прекрасной, в слепоте своей, верой — забывая о том, что со временем можно заигрывать, но не стоит даже и пытаться его обмануть. Всякий обман, самая попытка его, выйдет, так или иначе, на лишенный жалости свет, и чем позднее раскроется она, обреченная ложь — тем суровой последует наказание.

* * *

...И два десятка лет спустя, оказавшись в прежних, оставленных давно палестинах, он будет иметь полную возможность убедиться в этом. Бараки снесут, яблоневоы сады выкорчуют, и ничто не будет напоминать о том, что когда-то на месте 112-го километра новой скоростной автострады скандалил, пьянствовал, дрался, загибался и любил рабочий, с названием нехитрым, поселок — Первый.

В стремлении отыскать хоть малые следы, он проедет пять верст к захиревшему Третьему, еще одной из своих многочисленных родин — и там ему повезет больше. Низкорослый, веса пера, мужичонка — из тех, что трутся дни напролет «под магазином» в неизлечимой и яростной алкогольной жажде — мужичонка, в каком далеко не сразу признает он Ваську-Тунгуса, редкого, в прошлом, силача и грозу окрестностей, расскажет ему, что и как. Кто и когда — если быть точным.

Сашка-Доцент, резаный-стреляный в мужеских распрах бессчетно, и все зря — пьяную смерть обнаружил в собственной кухне, от руки ревливой сожительницы — в девяносто шестом.

Толик-Длинный закончился от цирроза на проссанном одиноком одре — двумя годами позже.

Доллар выбился-таки в люди, перебрался в Город и ворочал одно время настоящими деньгами — пока не перешел, по первенской врожденной незрячести, оголтелости и бесшабашью, парутройку не тех дорог — вскоре после чего и найден был взорванным в представительском своем авто — за три года до нового века.

Вася-Тунгус — да вот он я, перед тобой! Ты, брат, и не признал сперва, точно? Что говорить, меняется все, и ты вон как заматерел — не узнать! Слушай, а пары копеек на поправку здоровья у тебя не найдется, трубы, сам понимаешь, горят, а денег — ни копейки, и долгануть негде, ох ты, вот спасибо, ты меня просто спасаешь, брат, до чего я рад, что нашлись-словились... Взаимно, Тунгус, как иначе? Нет, нельзя мне, я за рулем, ты давай сам — и за мое здоровье стопарь потяни, ладно?

Что до Вади — мне не нужно ничего рассказывать. Я все знаю сам. Я еще жил там, когда это случилось. Ровно через год после смерти Эн Эф. В тот день «духи» снова тревожили и одолевали, с самого утра. Я находился рядом с ним неотлучно, за исключением единственного часа, которые понадобился мне, чтобы сгонять на Вадином мотоцикле домой и посмотреть, как там перемогаются запившая накануне мать. В этот час все и произошло. «Духи» прижали Вадю и не давалидохнуть, «духи» доняли, допекли и загнали его в глухой, глуше некуда, угол, выйти откуда можно было лишь одним способом: упереть обрезанный ствол в челюсть снизу и — нажать спусковую скобу.

...Так что же осталось-то? — спрашивал он себя, воротившись на эту самую автостраду и на волю отпуская движок. Что осталось от него, моего аномального детства? Неужто — совсем ничего? Да нет, глупости. Не может такого быть. Что-то оттуда я вынес и сохранил — единственное, сокровенное, основное. То, что всегда со мной, и чему я так и не смог до сих пор отыскать подходящего имени. Просто я знаю, что оно, краеугольное, есть — и останется со мной еще долго. А названия, символы, слова — Бог с ними... Это, в конце концов, далеко не главное — слова. И сути они никак не меняют.

